

КНУТ ГАМСУН

*ПАН
ВИКТОРИЯ*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.113.5-31
ББК 84(4Нор)-44
Г18

Серия «Эксклюзивная классика»

Кnut Hamsun

PAN

VICTORIA

Перевод с норвежского
Е. Суриц («Пан»), *Ю. Яхниной* («Виктория»)

Серийное оформление *Е. Ферез*

Дизайн обложки *А. Чаругиной*

Печатается с разрешения издательства
Gyldendal Norsk Forlag AS.

Гамсун, Кнут.

Г18 Пан. Виктория : [сборник] / Кнут Гамсун ; [пер. с норв. Е. Суриц, Ю. Яхниной]. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 288 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-112626-1

«Пан» — повесть, в которой раскрыта тема свободы человека. Ее главный герой, лейтенант Глан, живущий отшельником в уединенной лесной хижине, оказывается в центре треугольника сложных отношений с двумя очень разными женщинами...

«Виктория» — роман о борьбе человеческих чувств, емкий и драматичный сюжет которого повествует о глубокой, мучительной и невозможной любви двух людей из разных сословий — сына мельника Юханнеса и дочери сельского помещика Виктории...

УДК 821.113.5-31
ББК 84(4Нор)-44

© Gyldendal Norsk Forlag AS, 1894, 1898
© Перевод. Е. Суриц, наследники, 2018
© Перевод. Ю. Яхнина, наследники, 2018
© Издание на русском языке AST
Publishers, 2018

ISBN 978-5-17-112626-1

ПАН

I

Последние дни мне все думается, думается о незакатном дне северного лета. Все не идут у меня из головы это лето и лесная сторожка, где я жил, и лес за сторожкой, и я решил кое-что записать, чтоб скоротать время и так просто, для собственного удовольствия. Время идет медленно, я никак не могу заставить его идти поскорей, хоть ничто не гнетет меня, и я веду самую беззаботную жизнь. Я совершенно всем доволен, правда, мне уже тридцать лет, но не так уж это много. Несколько дней назад я получил по почте два птичьих пера, издалика, от человека, который вовсе не должен бы мне их присылать, но вот поди ж ты — два зеленых пера в гербовой бумаге, запечатанной облаткой. Любопытно было взглянуть на эти перья, до чего же они зеленые... А так ничто меня не мучит, разве что иногда ломит левую ногу из-за старой раны, впрочем, давно уже залеченной.

Помню, два года назад время бежало быстро, не то что теперь, не успел я оглянуться,

как промчалось лето. Это было два года назад, в 1855 году, а сейчас я для собственного удовольствия решил написать обо всем, что мне тогда выпало на долю, а может быть, и просто приснилось. Теперь уж позабылись многие подробности тех событий, я ведь о них почти и не вспоминал; помню только, что ночи были очень светлые. И многое казалось мне странно; в году, как всегда, двенадцать месяцев, а ночь обратилась в день, и хоть бы одна звезда на небе. И люди там тоже особенные, никогда еще мне такие не встречались; иной раз одна всего ночь — и вчерашний ребенок становится взрослым, разумным и прекрасным созданием. И не то чтобы это колдовство, просто никогда еще мне такое не встречалось. О, никогда, никогда не встречалось.

В большом белом доме у самого моря судьба свела меня с человеком, на короткое время занявшим мои мысли. Теперь этот человек уже не стоит неотступно у меня в голове, так только, изредка вспомню, да нет, совсем позабыл; я вспоминаю, напротив, совсем другое: крик морских птиц, охоту в лесах, мои ночи, каждый горячий час лета. Да и свел-то нас с нею случай, и ведь не будь этого случая, я бы и дня о ней не думал.

Из сторожки я видел сумятицу островков и шхер, кусочек моря, синие вершины, а за сторожкой лежал лес, бескрайний лес. Как я радовался запаху корней и листвы, запаху жирной сосновой смолы; только в лесу все во мне затихало, я чувствовал себя сильным, здоровым, и ничто

не омрачало душу. Всякий день я шел в горы с Эзопом, и ничего-то мне больше не надо было — только вот так ходить в горы, хоть еще не сошел снег и местами чернела слякоть. Единственным товарищем моим был Эзоп; теперь у меня Кора, а тогда был Эзоп, мой пес, которого я потом застрелил.

Часто вечером, когда я подходил к своей сторожке, у меня уютно замирало сердце, пробирала радостная дрожь, и я говорил с Эзопом о том, как славно нам живется. «Ну вот, сейчас мы разведем огонь и зажарим на очаге птицу, — говорил я ему, — что ты на это скажешь?» А когда мы отужинаем, Эзоп, бывало, забирался на свое место за очагом, а я зажигал трубку и ложился на нары, и вслушивался в глухой шорох леса. Ветер дул в сторону нашего жилья, и я отчетливо слышал, как токуют тетерева далеко в горах. А то все было тихо.

И часто я так и засыпал, как был, во всей одежде, и просыпался лишь от утреннего крика морских птиц. Выглянув в окно, я видел большие белые строенья, лавку, где я брал хлеб, пристани Сирилунна, и потом еще лежал на нарах, дивясь, что я тут, на самом севере Норвегии, в Нурланне, в сторожке на краю леса.

Но вот Эзоп потягивался узким длинным телом, звенел ошейником, зевал, вилял хвостом, и я вскакивал после трех-четырёхчасового сна, совершенно выспавшийся и всем, всем довольный.

Так прошло много ночей.

II

Бывает, и дождь-то льет, и буря-то воет, и в такой вот ненастный день найдет беспричинная радость, и ходишь, ходишь, боишься ее расплескать. Встанешь, бывает, смотришь прямо перед собой, потом вдруг тихонько засмеешься и оглядишься. О чем тогда думаешь? Да хоть о чистом стекле окна, о лучике на стекле, о ручье, что виден в это окно, а может, и о синей прорехе в облаках. И ничего-то больше не нужно.

А в другой раз даже и что-нибудь необычайное не выведет из тихого, угнетенного состояния духа, и в бальной зале можно сидеть уныло, не заражаясь общим весельем. Потому что источник и радостей наших, и печалей в нас же самих.

Вот помню я один день. Я спустился к берегу. Меня захватил дождь, и я спрятался в лодочном сарае. Я напевал, но без охоты, без удовольствия, так просто, чтобы убить время. Эзоп был со мной, он сел, прислушался. Я перестаю петь и тоже слушаю, я слышу голоса, ближе, ближе. Случай, чистейший случай! Два господина и девушка влетают ко мне в сарай. Они, хохоча, кричат друг дружке:

— Скорее! Тут и переждем!

Я встал.

Один из мужчин был в белой некрахмаленой манишке, теперь она вдобавок совсем промокла и пузырилась; в этой мокрой манишке торчала брильянтовая булавка. На ногах у него были длинные остроносые башмаки весьма щегольского вида. Я поклонился, это был господин Мак, торговец,

я узнал его, я покупал хлеб у него в лавке. Он еще приглашал меня к себе домой, да я пока не собрался.

— А, знакомые! — сказал он, разглядев меня. — Вот, пошли было на мельницу, и пришлось воротиться. Ну и погодка, а? Так когда же вы пожелуете в Сирилунн, господин лейтенант? — Он представил мне низкорослого господина с черной бородкой, доктора, жившего в соседнем приходе.

Девушка подняла вуаль на нос и принялась тихонько беседовать с Эзопом. Я заметил ее кофту, по изнанке и петлям видно было, что она перекрашена. Господин Мак представил и ее, это его дочь, зовут ее Эдвардой.

Эдварда быстро глянула на меня через вуаль и опять стала шептаться с Эзопом и разбирать надпись у него на ошейнике.

— Тебя, оказывается, зовут Эзоп... Доктор, кто такой Эзоп? Я только и помню, что он сочинял басни. Фригиец, кажется? Нет, не знаю.

Ребенок, школьница. Я смотрел на нее. Высокая, но еще не развившаяся, лет пятнадцати-шестнадцати, длинные, темные руки без перчаток. Наверное, придя домой, она отыскала в лексиконе Эзопа, чтобы блеснуть при случае.

Господин Мак расспрашивал меня об охоте. Чего попадаете больше? Я могу свободно располагать любой из его лодок, одно мое слово — и она в моем нераздельном пользовании. Доктор все время молчал. Когда они пошли, я заметил, что доктор прихрамывает и опирается на палку.

Я побрел домой; на душе у меня было по-прежнему пусто, я безразлично напевал. Встреча в лодочном сарае не произвела на меня ровным счетом никакого впечатления; больше всего запомнилась мокрая манишка господина Мака с брильянтовой булавкой, тоже мокрой и почти без блеска.

III

Неподалеку от моей сторожки стоял камень, высокий серый камень. У камня был такой приветливый вид, он словно смотрел на меня, когда я к нему подходил, и узнавал меня. По утрам, отправляясь на охоту, я приноровился ходить мимо камня, и меня словно бы поджидал дома добрый друг.

А в лесу начиналась охота. Иногда я подстрелю какую-нибудь дичь, иногда и нет...

За островами тяжело и покойно лежало море. Часто я забирался далеко в горы и глядел на него с вышины; в тихие дни суда почти не двигались с места, бывало, три дня кряду я видел все тот же парус, крошечный и белый, словно чайка на воде. Но вот налетал ветер и почти стирал горы вдаль, поднималась буря, она налетала с юго-запада, у меня на глазах разыгрывалось интереснейшее представление. Все стояло в дыму. Земля и небо сливались, море взвихрялось в диком танце, выбрасывая из пучины всадников, коней, разодранные знамена. Я стоял, укрывшись за выступ скалы, и о чем только я тогда не думал! Бог знает, думал я, чему я се-

годня свидетель и отчего море так открывается моим глазам? Быть может, мне дано в этот час увидеть мозг мироздания, как кипит в нем работа! Эзоп нервничал, то и дело поднимал морду и принюхивался, у него тонко дрожали лапы; не дождавшись от меня ни слова, он жался к моим ногам и тоже смотрел на море. И ни голоса, ни вскрика — нигде ничего, только тяжкий, немолчный гул. Далеко в море лежал подводный камень, лежал себе, тихонько уединясь вдаль, когда же над ним проносилась волна, он вздымался, словно безумец, нет, словно мокрый полубог, что поднялся из вод, и озирает мир, и фыркает так, что волосы и борода встают дыбом. И тотчас снова нырял в пену.

А сквозь бурю пробивал себе путь крошечный, черный как сажа, пароходик...

Когда я вечером пришел на пристань, черный пароходик уже стоял в гавани; оказывается, это был почтовый пароход. Посмотреть на редкого гостя собралось немало народу, я заметил, что как бы ни рознились эти люди, глаза у всех подряд были синие. Молодая девушка, покрытая белым шерстяным платком, стояла неподалеку; волосы у нее были очень темные, на них особенно выделялся белый платок. Она любопытно разглядывала меня, мою кожаную куртку, ружье, когда я с ней заговорил, она смутилась и потупилась. Я сказал:

— Носи всегда белый платок, тебе он к лицу.

И тотчас к ней подошел высокий, крепкий человек в толстой вязаной куртке, он назвал

ее Евой. Видно, она его дочь. Высокого, крепкого человека я узнал, это был кузнец, здешний кузнец. За несколько дней до того он приделал новый курок к одному из моих ружей...

А дождь и ветер сделали свое дело и счистили весь снег. Несколько дней было промозгло и неуютно, скрипели гнилые ветки, да вороны собиравались стаями и каркали. Но длилось это недолго, солнышко затаилось совсем близко, и однажды утром оно поднялось из-за леса. Солнце встает, и меня пронизывает восторгом; я вскидываю ружье на плечо, замирая от радости.

IV

В ту пору я не знал недостатка в дичи, я стрелял, что вздумается, то подстрелю зайца, то глухаря, то куропатку, а когда мне случалось спуститься к берегу и подойти на выстрел к морской птице, я, бывало, и ее подстрелю. Славная была пора, дни делались все длиннее, воздух чище, я запасался едой на два дня и пускался в горы, к самым вершинам, там я сходил с лопарями-оленоводами, и они давали мне сыру, небольшие жирные сыры, отдающие травой. Я ходил туда не раз. На возвратном пути я всегда подстреливал какую-нибудь птицу и совал в сумку. Я присаживался и брал Эзопа на поводок. В миле подо мной было море; скалы мокры и черны от воды, что журчит под ними, плещет и журчит, и все одна и та же у воды незатейливая музыка. Эта тихая музыка скоротала мне не один час, когда я сидел в горах

и смотрел вокруг. Вот журчит себе нехитрая, нескончаемая песенка, думал я, и никто-то ее не слышит, никто-то о ней не вспомнит, а она журчит себе и журчит, и так без конца, без конца! Я слушал эту песенку, и мне уже казалось, что я не один тут в горах. Случались и происшествия: прогремит гром, сорвется и упадет в отвес обломок скалы, оставив дымящуюся осколками дорожку на круче; Эзоп тотчас же поднимал морду, принюхивался, он недоумевал, откуда это тянет гарью. Когда потоки талого снега проточат ложбинки в горах, достаточно выстрела, даже громкого крика, чтобы большая глыба сорвалась и рухнула в море...

Проходил час, а то и больше, время бежало так быстро. Я спускал Эзопу, перебрасывал сумку на другое плечо и шагал к дому. Вечерело. Сойдя в лес, я неизменно нападал на знакомую свою тропку, узенькую ленту, всю в удивительных изгибах. Я прилежно следовал за каждым изгибом, — спешить было некуда, никто ведь меня не ждал; вольный, как ветер, я шел по своим владениям, по мирному лесу, и мне не к чему было ускорять шаг. Птицы уже молчали, только тетерев токовал вдалеке, он токовал без умолку.

Я вышел из лесу и увидел перед собой двоих, они прогуливались, я нагнал их; это оказалась йомфру Эдварда, я узнал ее и поклонился; с ней был доктор. Пришлось показывать им ружье, они осмотрели мой компас, мою сумку; я пригласил их к себе в сторожку, и они пообещались как-нибудь зайти.

Ну вот и вечер. Я пришел домой, развел огонь, зажарил птицу и поужинал. Завтра снова будет день...

Повсюду тишь и покой. Я лежу и смотрю в окно. Лес в необычном уборе заката. Солнце уже зашло и оставило на горизонте густой, застывший отсвет, словно нанесенный алой краской. Небо везде чисто и открыто, я глядел в эту ясную глубь, и мне словно обнажилось дно мира, и сердце стучало и стремилось к этому голому дну, рвалось к нему. Ну почему, почему, думал я, горизонт одевается по вечерам в золото и багрянец, уж не пир ли у них там, наверху, роскошный пир с катаньем по небесным потокам под музыку звезд. А ведь похоже! И я закрываю глаза и вот уже я с пирующими, и мысли мои мелькают одна за другой и путаются.

Так прошел не один день.

Я бродил и смотрел, как тает снег, как трогается лед. Часто, когда дома у меня хватало еды, я даже не разряжал ружья, я просто гулял, а время все шло и шло. Всюду, куда ни оглянешься, было на что поглядеть, что послушать, с каждым днем все потихоньку менялось, даже ивняк и можжевельник и те затаились и ждали весну. Сходил я и на мельницу, она пока была под ледяной коркой; но земля вокруг утопталась за множество лет и ясно показывала, что сюда приходят люди с тяжелыми мешками зерна. И я словно бы потолкался тут среди людей в ожиданье помола, а на стенах во множестве были вырезаны буквы и даты.

Вот так-то!

V

Что ж, писать и дальше? Нет, нет. Разве что немного, для собственного удовольствия, да и просто время скоротаю, рассказывая, как два года назад настала весна и как глядело все кругом. Земля и море чуть-чуть запахло, сладко запахло прелью от лежащей листвы, и сороки летали с прутиками в клювах и строили гнезда. Еще несколько дней, и ручьи вспенились, вздулись, и уже над кустами суетились крапивницы, и рыбаки вернулись с зимних промыслов. Две торговые баржи, доверху груженные рыбой, стали на якорь возле сушилен; на островке побольше, где распластывали рыбу для сушки, закипела жизнь. Мне все было видно из моего окна.

Но до сторожки гвалт не доносился, и ничто не нарушало моего одиночества. Случалось, пройдет кто-нибудь мимо; мне встретилась Ева, дочь кузнеца, на носу у нее выступили веснушки, совсем немного.

— Куда ты? — спросил я.

— По дрова, — ответила она тихо. В руке у нее была веревка. На Еве опять был белый платок. Я посмотрел ей вслед, но она не оглянулась.

И снова пошли день за днем, и я никого не видел.

Весна ударила дружнее, лес повеселел; очень меня забавляли дрозды, они сидели на макушках деревьев, пялились на солнце и горланили; иной раз я вставал даже и в два, чтоб вместе со зверьем и птицами порадоваться на восход.

И ко мне подобралась весна, кровь билась в жилах так громко, будто выстукивали шаги.